

Ольга Татаринова

ГОРИЗОНТ КВАРТАЛА

книга стихов 1974-1977 годов

Москва
Издательство «БПП»
2009

В окне отражается люстра;
не люстра, а мелкий плафон —
то ль комната светится тускло,
то ль мрак за окном разбелен.

Во мраке спокойная осень,
с грязищей и дождем.
Я даже скучаю не очень
и не грущу ни о чем.

Мне некогда, в самом деле —
теперь на руках еще дом.
Что было, осталось в неделе,
плюс это еще: с окном.

Стучат молотки в округе,
и надо убратсья на кухне,
и надо вжиться в тепло —
чтоб с чувством по жилам прошло.

Я трудно ко всем привыкаю,
ценя суверенность свою,
но только давно и мучительно знаю,
как больно потом отдаю.

окт.74

Так. Перестали петь про свет луны,
как будто она просто испарилась,
или в лучах неона растворилась,
погасла от сознания вины.

А я живу на пустыре,
в мой дом многоэтажный
луна сует свой бледный нос
с пытливостью отважной.

Рассматривает, как живу,
как грею лысый чайник
и как рассеянно жую,
листая тусклый сборник.

Я тихо выключаю свет
и подхожу к окошку —
сей новый изучать предмет,
к себе прижавши кошку.

Ах, я чувствую — я там пропаду,
вот за этим, вот за этим поворотом,
так зачем же, зачем я иду
с этой ведьмой, старым цыганом и чертом?

Так разнузданно, так лживо поют,
так их зубы вероломно блещут;
вижу, вижу — они там меня убьют,
просто — чтоб забрать мои вещи.

За потертый рубль и два кольца
проникают в самое глухое,
в самое запретное, седое —
в обещанье сладкого конца.

Ко всему, про что мы делаем вид,
будто нету, будто и не верим,
растворили они нагло двери —
и палит цыганский голос и скорбит,

и я чувствую, что там пропаду —
вот за этим, за этим поворотом,
но, дрожа и спотыкаясь, иду
с этой ведьмой, старым цыганом и чертом.

СЛОВА И МУЗЫКА

Александрю Слободянику

Когда звучит и кажется понятной,
душа, как иву – пруд, её вбирает,
а звуки зал тихонько отворяют
и улетают вечностью крылатой,
и привставая с кресла, не пытайся
связать о ней двух слов, как ни наполнен:
посмешищем у музыки ты станешь,
она к себе не подпускает слов.
Так почему ж, когда, забравшись в кресло
из улицы, чуть прикоснусь к бумаге,
из-под пера бежит стихотворенье
о музыке, и по перу стекают
немые звуки, к музыке стремясь?
Слова стремятся к музыке, смеясь
и плача над своим несовершенством,
и совершенства требуя от нас.

Солдатики пластмассовыми стали.
Должно быть, воевать они устали.
Но я стою упрямо на своем:
Я и пластмассовых не допускаю в дом.

Внушает муж: — Ты бабски не права,
Девчонкой ты б могла распоряжаться,
А сын — он мой, ему еще сражаться.
У всех игрушек есть свои права.

— Вот ненавижу вас, мужчин! Такое дело.
Вас, видно, ни за что не переделать.
А я уверена: игрушечных изъять,
И настоящим не придется воевать!

Дня два наш папа, видно, что-то думал.
Гулял один, семейства избегал,
И даже раз, когда Антон стрелял,
Он монпансье ему насыпал в дуло.

А сын сказал: — Штрейкбрехер! Диверсант!
Ты мне испортил весь морской десант!
Они там с детства получают подготовку,
А ты засахарил последнюю винтовку!

Вот принцип «белое на белом» —
Молочным утром за окном,
В которое врисован мелом
Соседний дом.

Распластаны между домами
Два мокрых липовых листа,
И ветка с тонкими руками
Выглядывает из-за холста.

Еще за рамой много окон,
В одном из них янтарный свет:
На белом, среди темных стекол,
Живет студент.

Я очень часто наблюдаю
Его над ватманом пустым
И очень часто вспоминаю
Сквозь беглый дым,

Какие белые одежды
Носили светлые мечты,
Как было все зеркально-нежным
Среди небесной нищеты,

«Когда мы были молодые
И чушь прекрасную несли,
Фонтаны били голубые,
И розы красные цвели»

О, я совсем не виновата,
Что годы сыпятся, шурша,
Что быстро у кого-то ватной
И сытой сделалась душа.

Дождь в осенней столице. В тумане мосты.
Я уехала так далеко.
А над речкой стоял голубой монастырь,
и жилось там уютно, легко.

Я б вернулась, но только не знаю, куда,
не пойму, где чужбина, где дом.
Так уйти б, не оставив следа,
под холодным октябрьским дождем.

Я полюбила скитаться давно
в шум проливного дождя,
в смутную осень и в холод,
стекающий вглубь плаща.

Дождь в осенней столице, и город-факир
манит туманным крылом.
По свинцовой реке проплывает буксир,
там, должно быть, тепло и светло.

Раздвигается влажной гармонике ряд,
и чем дальше, тем веселей
голубые гармошки горят,
а вокруг в полутьме стоят
сто венчальных свечей.

Совка, двух яблок и клочка рябины
было достаточно, чтоб сочинить картину
в одном забавном доме на горе
в любой из дней, и даже в октябре.

Ну что ж, большое дело — переедем;
звонок по-прежнему прибит в передней,
по-прежнему фонит приемник в полутьме,
но почему-то плохо стало мне.

И я ввожу
Пьеро и Коломбину,
сама вхожу
с улыбкой Арлекина!
Едва с порога, занавес откинув, —
уже люблю крутой вихор и спину
доселе неизвестного блондина.

И если уживутся три портрета,
я, может быть, опять возьмусь за это:
совка, двух яблок и клочка рябины
достанет мне, чтоб сочинить картину.
окт.74

Этот город, в котором уже нет района,
где бы я не жила, этот город соленый
получил меня в юности терпкой моей
в самый тихий, беззлобный, запойный из дней.
Получил после пятого курса, на Курском,
то, что он запросил по анкетам из вуза.
На Волхонке, у Красных Ворот, на Лесной
я души своей маялась голубизной.
У «Динамо», в Отрадном, в Опалихе, в Истре
приспособила к чаю баранки и мысли.
Что хотел этот город огромный от чада?
Что хотел, что искал и каких ему надо?
Ожидал — муравья? Стрекозы? Комара?
Думал выписать блюдечко ягод для кухни
и выдавливать сок из покладистой клюквы?
Только сам же и создал меня из ребра
прочной пробы черненого серебра,
научил отметать мишуру маскарада.
И теперь я не та, не ищи со мной сладу.

1975

Сиреневый зубчатый горизонт квартала
хрустален от морозного заката,
из труб котелен голубые дымы
окрашивают в розовое мысли
о том, что шар земной плывет, как надо,
не просто мимо или вдоль канала,
не вспять и не в разрез со здравым смыслом,
не просто так, по прихоти небес,
а именно туда, где добр Зевес,
где равно чтят Диониса и Аполлона,
где яблоко дражайшего Ньютона
налито соками живительной любви
и где планеты в мудром средоточье
подумают, обсудят — и решат,
что человеки вынесли довольно,
достигли зрелости и торжества небес,
корабль пристал; швартовые; конец...

Когда же случилось,
и что же случилось?
Но небо отпрянуло вдруг и разбилось;
несутся остатки, осколки, клочки,
какие-то дымно-сырые куски.

И чашка с коричневым кофе не греет,
и от сигареты еще холоднее,
и мой цикламен не желает цвести —
листья желтеют, засохли ростки.

Когда-то, однажды,
такое бывало,
случалось, бывало, но я выживала.
Так вспомнить бы: как это мне удавалось?
Ни в детской, ни в юной поре — не осталась!

Кукольно-просто и строго
руки сложу на подушке.
Где-то у дальнего бора
майские бродят частушки.

Нет ничего вероятней
сизого вечера с дымом,
с краем простынки опрятной,
с запахом корочки тминной.

Теплая белая чашка! —
Ты, да до плеч одеяло:
вот и добилась случайно
тихого, белого, славного.

окт.74

Собака лает, ветер разносит
нежнейший плеск голубых колосьев.
Светлеет, светлеет, светлеет стенка
с каждым новым порывом ветра.
Рука ледяная колосья считает.
Сквозь бетон лай задувает.
Это — сеттер. Такая порода:
стройная спинка и умная морда.

МОЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

Я ни к кому не обращусь;
учти, ты вовсе мне не нужен.
Весь небосвод вокруг простужен,
а веселиться — и не тщусь.
Еще магический кристалл
чуть-чуть послужит, хоть и треснул;
тем интереснее для песен! —
ползут, как плющ на пьедестал.
Нет, не как плющ, а крымских роз
между плющом две-три развилки,
чуть тронутые пеньем скрипки.
Головки не меняют поз
ввиду случайных аксельбантов;
кружав и докеров Брабанта
они видали досыта,
моя ж чернильница чиста.
Бутоны кое-где подвяли,
не распустившись до конца,
и запыленного гонца
встречают, грациозно сникнув.
Тем лучше! Бежевым краям
мальчишка, пламенно любуясь,
пошлет два нежных поцелуя,
оставив с носом важных дам.

ТАЛЛИН

Я сейчас полечу
и башку размозжу
в этом чёртовом логове,
городе Таллине!
Но не спущусь,
ни за что не спущусь
по безопасной пологой проталине –
лаз этот – мой,
я его протаранила:
лёд неприступен
под башнями Калева.
Море! Суда!
Отплывай хоть куда –
ломит в ушах от промёрзлой влаги;
льдинки навёртываются на глаза –
море!
И за спиной – все флаги.

МЕРИКЕ

В доме
с семнадцатого века
фрамуга дребезжит.
Ты спишь, как молодая дева
рассыпав локоны. Стучит
костями ветер. Ветер ноет
и под сурдинку говорит,
что глаза у тебя голубые,
серьёзные, ясные, не такие,
чтобы просто тебя забыть. Плыть
на волнах твоих чувств
так чудесно и страшно,
опасно – и можно прожить
десять жизней, любовь и разлуку постичь,
из отчаянья выплыть, себя возродить
и опять содрогаться от хлопанья ставен,
говорить о каком-то несчастном, что опоздал
на полгода или лет на пять.
Греть ему кофе, считать
его промахи и удачи, как свои собственные.
Плакать и всё понимать,
долго глядя в живой огонь. Сон
мягко качает нашу лодку безмерной жизни.
Дребезжат фрамуги и ставни,
поскрипывают снасти,
и ни один из любимых не знает,
сколько у нас ещё впереди
и сколько осталось за нами.

ПАУЛЬ-ЭРИК РУММО

Дитя, проказник
с марлевым сочком,
пронзённый в грудь
солдатик оловянный,
галантный школьник,
девочкам тайком
под партой прячущий
глоток фиалок,
испанец лунный
с полным кошельком
в дыре кармана –
как пояс под ночным плащом
сверкает ало...

Свет в эркерном окне. На улице туман.
Январь. Мороз. И ветер дует с моря.
Лёгкие сумерки. Обман
Души в открытой настезь церкви с аналоем.

Две улицы, смыкаясь вдалеке,
Друг друга пополняют светом окон.
Там светится туман, там снег,
Как искры электрического тока.

Я знаю, ты бывал здесь. Мне подруга
Рассказывала. Потому
Так осторожно огибаю каждый угол,
Так зорко всматриваюсь в сказочную тьму.

Серый плитняк, отороченный снегом.
Серые ветви и серое небо.
Ветер качает деревья.
Я забыла сказать: снег – серый.
Очень рано темнеет.
Ветер качает деревья.
Вечер.
Стена удивительно чёрная, прокопчённая.
Небо над Таллином звёздное, чёрное.
Башня огромная. Трещиной
стена расцвечена
поздним вечером.
Дорога светится,
льдом облицованная. Двери кованые.
Поют. Факелы за поворотом дымят.
Кого-то несут, мёртвого.
Господи! Только не это –
ка-акая плохая примета!
Пожалей меня, Господи! – Обойди!
Негде пройти:
переулки такие узкие, тусклые. Свет
факелов хлынет сейчас из-за дыма,
и они перейдут мне дорогу к дому...
Холера, чума, инквизиция –
Чего только тут не примнится!

УЛИЦА ТООМКООЛИ

Капли летят мимо окна,
тень пронизывая
алмазным светом.
Дерево светится
в тени двора,
крыша каскадом
струится с неба.
Льдинки, снежинки,
ветки, капель
на солнце звенят,
перебираемы ветром.
Домский Собор
призрачно свят
в протуберанцах света.
Это – суббота.
Птицы летят
с крыши напротив
на крышу выше.
Крошки раскидывает детвора.
Тени от крыльев мелькают по крыше.

МИМОЛЁТНОСТЬ

Сидеть с тобой на диване,
подсыпать в цикламены снежку
и с грустью оглядывать Таллин
на уличном берегу.

Темнеет Тоомкооли,
заворачивая в каждый двор,
и Домский Собор – напротив,
и стены молчат всей плотью,
и факел-фонарь остёр.

И мглисто позёмка дымится,
и нам уже не успеть,
перелистнув страницы,
вернуться к заветной границе,
напрячься, пересмотреть
оставшуюся треть.

А значит, осталось — верность
всему, о чём раньше пелось,
когда друг в друга смотрелись
и радовались, находя
такую же родинку справа,
и тот же пробор — налево,
когда на башне шептались
в давно прошедшее лето
в июне, в час дождя.

Но мне сегодня так странно
жалеть лейтенанта Глана,
сидя с тобой на диване,
подсыпать в цикламены снежку
и с грустью оглядывать Таллин
на уличном берегу.

1974

Завяли розы на окне.
Я была Кай, а ты был — Герда.
Сейчас люблю тебя сильнее,
как будто я не Кай, а Герда.

Сажаю каждый день куст роз,
но ни один не дал отростка.
Унылый ящик, как погост,
а с неба сыплется известка.

Теперь такие холода,
так пусто и серо в квартире.
Как строить из кусочков льда
цветы на лире?

Однажды посох мой зацвел —
тому лет двадцать.
Я, Кай, наверно не учел
всех обстоятельств.

Но я упорно каждый день
сажаю розы.
Во мне есть Герда, ей видней.
Еще не поздно.

1975

Темная Темза и серая Сена,
я никогда не видала вселенной!
Темная Темза и лунная Сена,
как разговаривает Селена?

Темная Темза и светлая Сена,
кто замурован в этих стенах?
Где мне пройти, по какому пути
выйти на берег и лодку найти?

Хриплая Сена и темная Темза,
вы не видали меня во сне?
Сена, Тезей — не бродил над Темзой,
не умолял судьбу обо мне?

Темная Темза, зеленая Сена,
как же тут пусто, как в поле темно!
Как далеко тот город небесный,
едва проступающий сквозь окно!

Мы заперты, как в мышеловке,
и друг на друга мы рычим, как псы,
в огромной, хлоркой сдобренной столовке
мы подозрительно косимся на весы.

К автобусам от снов дорожки слишком узки,
и слишком тяжек хмель, каким нас дарит к в а с;
дичает рожь в полях, стихи по-русски
напишут тоже где-нибудь без нас.

1974

Накормлен объедками я доотвала
на терпком, на крестном по жизни пути.
Лишь мама прощала и не выгоняла,
и все еще тщится от стужи спасти.

Никто никогда не интересовался,
что я умею и что я люблю.
Я был человеком, а числился глянцем
на жиге пустой общепитовских блюд.

Никто не заметил однажды, как страшно
во мне распахнулось от ветра окно,
как жизнь побежала по шторам бумажным,
как стало светло там, где было темно.

И в этой весенней томительной жажде
Я время, я детство, я будущность пью.
Но также никто не заметит однажды,
когда меня тихо, бесследно убьют.

1975

На что воздействовать и что преобразить
в квадрате мочи рук и слышности гортани?
В троллейбусе битком, и остается мнить,
вдоль улицы скользя усталыми глазами.
За стеклами от нас — аквариумы зданий
в квартале министерств, и мокрый снег кипит
под тысячами ног, но никого не знает
ни близко, ни в лицо здесь улица-наймит.

(Друг к другу каждый день приходят две старушки,
совместный мастерят обед с укропом и петрушкой;
с Молчановки на белый свет — две скользкие дорожки;
старуха бережно стоит, за угол дома держится,
а мимо белый свет летит, занятой и бешеный.
Долго всматриваясь в лица, просит вдруг остановиться
именно вот ту: помогла чтоб проводница
до Молчановки добиться, в старую черту.)

С двадцатых этажей — троллейбус только блошка,
вид города — обложка, развернутая вширь:
две улицы, сойдясь, расширились немножко,
и башня — как замок на входе в монастырь.
Скользит по снимку снег, виденье бело-серо,
пустынна и светла картинка из окна,
и к раме растворясь в крупинках, поредела,
истаяла, исчезла гравюрная страна.

В троллейбусе и там, в аквариумах зданий,
на улице, в кино и в глубине дворов —

в квадрате мочи рук и слышности гортани
я только собираю свой зрительный оброк,
я только молча таю, как грифель-электрод.

Я жить хочу везде, я всматриваюсь в лица,
и сильная душа — не скопидом;
но улица бежит, спешит вокруг столица,
и лица мчатся мимо — бегом, бегом, бегом.

Одуванчики во рву
объявились там, где я теперь живу;
это — первая ласка вслух,
жёлтый омут, пчелиный дух:

по хрустящей полевой жаре
в ситцевых штанах — до-соль-ми-ре —
плотный дух, подобие Твоё
тащит одеяло и питьё.

Мне так весело, так колко на стерне,
небо улыбается во мне,
я люблю кого-то, кто далёк,
как вот этот тёмный василёк.

Но должно же мне когда-то повезти,
в этой грязи, где приходится цвести —
выжить и увидеть наяву
ласку там, где я теперь живу:

ласку города: асфальтовых услуг,
телефонизации подруг,
светлых скверов и больших даров
от печатных человеческих трудов.

Но боюсь, в конце концов я убегу
к одному большому стогу на лугу:
где картофель розовым цветёт,
светится в тени из года в год.

апр. 75, Алтуфьево

Роберту Веберу

Правда, а что же я видела,
кроме вот этой вот комнаты,
кроме гвоздик на окне и пластинок Бетховена?
Платье на стуле брошено
так же, как в детстве — форма,
так же, как в Риме — Форум,
брошено, как бросалось в этой же самой комнате
еще при Сенеке и Плотине (в юности читались стоики).

Что же я, собственно, видела, кроме этого города,
кроме этого Моцарта? (Включаю — разрыв аорты,
все тот же разрыв аорты!)

Кроме лесов и речек,
кроме дорожной встречи,
кроме двух тихих строчек
о судьбе человеческой
в другом каком-нибудь городе,
или в его предместье,
или в другом предсердье
в предощущенье смерти?

Что же я, собственно, видела, кроме этого шарика,
беличьего кораблика,
скромного такелажника от Новороссийска до Поти —
с вулканической плотью!
май 75

Запах кислого теста, древесного дыма костра
торжествует за домом, в пространстве большого двора
без оград, без утайки, без крика помешанных баб —
торжествует субботник за домом, владычество пап.

Тень от дыма летит по уставшей от стройки земле —
по лицу фараона с морщинами тысячи лет;
желтизна глинозема сухого вопит, как бунтарь,
разлученный с корнями черемух, бушующих встарь.

И на всем протяженном пространстве большого двора
непривычная к запаху, к виду цветов детвора
дико топчется в пляске по свежей посадке травы,
обрывает бутоны, царапает кожу коры.

Всю весну происходит за домом борьба,
треск костра, громыханье уключин ведра,
деревенские запахи в голом пространстве парят,
воспитанье земли происходит, возвращенье ребят.

Свист электрички и шум тополей
ранят меня красотой своей,
в сердце — поклажа каждого дня
манит отчетливой далью меня.

Нет, не жила в античном раю
у преисподней веков на краю;
гаснувшей тихо девицей тайком
слез не лила над атласным шитьем;
не уговариваю никого
век мне вернуть, и меня — в него.

Клейкие листья, эмалевый свод!
Я только буду — в том, что придет!
Вот я — маячу в дали дорог,
только бы век мой меня уберег.

май 75

Как больно, как благостно видеть тебя,
склонившись к струящейся строчке ручья,
я верю тебе, между нами ничья:
ты был и любил, и улыбка твоя
сияет так чисто в улыбке ручья.

ВЫШЕ СТРОПИЛА, ПЛОТНИКИ!

Легко гадать, какой здесь будет дом,
когда пройдут еще две-три недели,
когда еще чуть-чуть я поседею,
намокнет под дождем засохший ком
первоначальной глины и унынья —
причины моего уединенья
в краю безвестном и чужом
(притом далеком и опустошенном).
Чернеющие ягоды паслена
и выпады созревших недотрог,
и август, как законченный пирог,
минуя сочность, сохнувший на блюде,
напоминают, что должны быть люди,
что подошел и поджигает срок,
к какому ты измучился, продрог
без примеси к жилью азарта студий.
И зданья, и обвисшие кусты
чуть-живого и чахлого жасмина,
и даже заросли глухой крапивы
должны быть упоительно красивы,
чтобы вернуть меня обратно миру,
откуда родом я, где корни и цветы.

Хоть я не смею ни о чем просить,
за три недели сделав слишком мало
для изгороди роз вокруг земли,
и даже для себя — чтоб не торчало
дручков и кольев множество в груди,
я все же обещаю возвести,
еще переживя и все обдумав,
в себе такие качества природы,
чтоб макромир, а в нем — микрорайон
доволен стал, что мною населен.

Про что еще поговорить?
Я все забыла, чем ты дышишь,
и ты едва ли верно слышишь
красную нить. Пора простить
и на свободу отпустить
не только тело, но и совесть,
как ни печальна эта повесть.
Про что же можно говорить,
чтобы не вызвать отголоска,
чтоб все в рассказе было плоско,
не выражало мою суть,
не танцевало слово с словом
забытый вальс под небосводом
моей единственной души,
где все печали хороши?
Аудиенцию окончим.
Не потому что трудно очень
к тебе рукой не прикоснуться,
а потому что трудно суть
так долго забивать и прятать,
слова случайно не сосватать
в единственное что-нибудь.

Горячей гальки белые слова,
прохладный жар пушистых криптомерий,
легко раскачивающаяся листва
платана молодого возле двери,

купальник на веревке, виноград
протягивает грозди к нам в оконце —
такие чудеса с землей творят
стихии чувства, воздуха и солнца.

И мне отведен крошечный удел —
вон я: взбираюсь по тропинке с моря,
со мною рядом — тоненький пострел,
и я еще хлебну с ним горя.

Ни вынести, ни бросить, не унять —
кто раздает на все на это визы?
Чьей подписью скрепляется печать
на красоте, испытанной при жизни?

Нам самым заметным казалось в Рязани,
что лошадь бредет под окном ресторана;
с проспекта взойдя на кремлевский холм,
к рекламе кино, дождями омытой,
ты видел воочию русский дол,
понтонную пристань у старой ракиты.

Нам очень заметны казались в Рязани
в светящемся облаке русские сани,
солонки меж стеклами в старых домах,
герань с огоньками, печные заслонки —
зима на сносях, и мы — в гостях,
в снегах городских по кушак, по печенку.

В майской Рязани рощи плясали,
улицы в пасху нас целовали.
В рубашке навывпуск яшень и вяз
привкусом лета смущали нас.
Зеленой какой была улица Либкнехта!
Автобус наполнен запахом липовым,
в нем пахнет Солотчей, Коломной, Касимовым,
немеешь в засилье говора ихнего.

Немеешь от прелести летнего вечера
с густым лучом на доске почета —
бульвар попережку пестро расцвечен
стволами и стягами алых полотен.
Дальше от площади — более плотен
каменный остов проспекта.
Это особенно было заметно первым рязанским студен-
там.

СОНАТА АРПЕДЖИОНЕ

памяти сестры

Пространство заполнено птицами; птицами и облаками.
На них бы облокотиться, а не на узел с вещами.
Но путаются мысли, звучит чужая соната,
и улетают птицы прочь от меня куда-то.

При настоящем страданье
пространство прощается с нами,
суживается постепенно,
суживается до предела,
до сердца, до полного плена.
(Так ты расставалась с нами.
Медленными волнами
ты от нас отступала:
виолончель стихала.)

Медленными волнами,
суживаясь постепенно,
она обратилась ... в куклу! —
но сначала смотрела.
Она обратилась в муку! —
но сначала согрела
злое пространство жизни
звуками Арпеджионе.
Не было, не было тела!
Были: Шуберт, Бетховен,
было больное сердце,
стихшее постепенно:

смычок непрочный попался.

Что же тогда болело?

Что оказалось тленным?

Что достигло предела?

Слышите, в целом мире никто не сумеет, не сможет
сыграть для меня т а к у ю ж е сонату Арпеджионе!

В морозильнях, родильнях, давитьнях
под живомертвющим лучом
пусть выгорит все, что бессильно,
живет — кому все нипочем.

Я, в мире цветущая ветка,
учуяла это давно:
при первом же пасмурном ветре
в глазах моих стало темно.

Не ждет никого здесь теплица,
здесь — ветреный, пасмурный дом.
И столько сумеешь продлиться,
сколь дерзостно выдержишь в нем.

Попробуй, узнай, что убило!
Все было впервые, чуть свет.
Все было доверчиво-милым,
все светится в сумраке лет.

Какая нежность в сентябре
цветет на уличных газонах,
туманно-сизых и зеленых,
в гелиотроповом огне.
Еще не осень — в сентябре.
В необычайной тишине
арбитр задумчивый решает
судьбу остывшей красоты
и обреченные кусты
влюблено флером овеивает.
Печаль всесильного творца
нечаянно мне передается,
а вдоль по улице несется
веселый рафик мудреца
в холщовой куртке, в кепке новой;
он правит по земным законам
с беспечной удалью лица.
Слеза печального лжеца
на клумбах листья прожигает,
так близко к сердцу принимает
ненастье своего творенья —
закон ниспосланного тленья,
так недоволен злой судьбой,
не в силах выдумать иной!

Искусство всегда отражает действительность
когда рифмы кровоточащий глаз
странно подмигивает
когда слово подпрыгивает
волоча
крыло
от врача
когда праздно молчит одубевшее
никогда не болевшее
все по местам
как в покойницкой
как в клозете очень чистых семейств
когда койка больничная ломится
под интонацией
когда изнасилованная грация
бьет себя в барабан груди
посреди
лазарета действительности
который отражает искусство
тайно от цензора
опасающегося одних метафор

ДЖОРДАНО БРУНО

Не с убежденьем, не из веры,
а безучастно, как часы,
голосовали лицемеры
за смертный час людской красы.

Но что влекло Джордано Бруно
покинуть добрый Вюртемберг?
К чему стремился этот умный,
но страшно дерзкий человек?

До истины — он доискался,
до славы — ею обладал:
он с королями пировал
и с герцогами знался.

«Есть упоение в бою
и бездны мрачной на краю» —
он просветить врагов собрался!

Мне снова расскажи про сад, в котором вырос,
где в часы-пик такая тишина,
пожалуйста на созерцанье вишен —
за то, что ты не нагл, на них лежит вина.
Мне расскажи про серую сороку
с повадкой исключительной своей
с тобою мудрствовать о чувственных пороках,
которые ты встретишь у людей.
Еще мне расскажи, пожалуйста, о чашке,
оставшейся лежать под проливным дождем, —
мне боль твоя нужна, как предкам — кровь барашка
под жертвенным ножом.
Возьми меня с собой в тот тихий летний дом,
я в нем одном найду успокоенье,
с тобой сбегая за руку вдвоем
в синее в дымке отдаленье.

И вот встает холодная луна
на страже нашего покоя,
и листья улеглись на лежбище ночное,
весь день за нами следом пролетав,
сухим шуршаньем приглушая
то слишком явное из слов,
которое не в ногу зашагало
меж наших радостных шагов,
и слишком тучно для ушей прохожих,
и слишком на мольбу похоже,
и у ограды притаясь ночной,
остаться предпочло со мной.
Встает луна, разлучена с Землей,
Земля со стороны, похожая на глобус,
вселенной между мною и тобой —
бессильный полюс, и разлуки муза,
и нашего небесного союза — покоя —
страж ночной.

АНАКРЕОНТИЧЕСКИЙ МОТИВ

Веселенький Эрот
шагал по лугу с мамой,
засунув два колчана
за ремешок от шорт.

— Ужасная жара, —
поморщилась Венера, —
ужасная страна,
весь климат переделан!

Вдоль голубой реки
шла женщина с ребенком,
жужжали пчелы громко,
темнели лопухи.

Вдруг маленький Эрот
остолбенел от боли.
— Пропал, умру! — кричит. —
Ужален я пчелою,
ужаснейшей змеей!
Вот! вот! стрела торчит.

Пленительной рукой,
чуть-чуть, пожалуй, полной,
Венера горсть земли
божественно берет
и нежно пальчик трет:
— Мой бедненький Эрот!

Так восхищенный взгляд ребенка
вдруг выбирает лучшую из тетей
на променаде утреннем с сестренкой,
и голова, как флюгер, шевелится,
со всех аллей стремясь ее увидеть,
так липнут листья к пню среди равнины,
так крохотные мысли-паладины
несмело мир вокруг себя обходят,
приверженцы широкого пространства:
никак не согласятся ради братства
остановить свой взгляд на ком-нибудь.
Они поют неясную кантату,
сама не знаю, что еще им надо,
мне все милы, особенно — вон тот.
Но верхних нот приемник не берет.

сент. 75

Еще прошу у благостной недели
немножко времени на мысли и стихи,
и на поездку в рай своей тоски,
где от монастыря вокруг трудов Растрелли
гурьбой влюбленных старичков сбегают ели
к подножию холма на край реки,

где слепки с этой пишущей руки
хранятся в гуще леса у подножий сосен,
где с каждым годом позлащает осень
мои шуршащие следы по берегам жилой воды;

там небо чествует тебя в шатре алмазном бытия,
и звездного плаща уже не сбросить,
куда ни зарони худая повесть.

Еще один пропащий день угас;
остатки пепла собирай в бумагу,
и этот нищенский запас
ценя во сто карат, ступай в атаку.
Разбитых войск не оставляй
в беспомощности сумерек прекрасных,
пусть все упущено — но сам не посягай
на тихий строй своей души непраздной
и праздной то, что ты еще живешь,
что до потемок полных не наказан,
что голосом надтреснутым поешь,
свою неопытность суждений честно праздной.
Свою печаль о брошенных мирах,
оставленных у детства на причале,
отпразднуй так, как будто ты в гостях,
как будто ты по-прежнему в гостях,
и вовсе не на час, не впопыхах
у всех, кто в этом мире жил в печали.
Открой Платона, пей его вино,
открой хоть Канта — но открой окно:
в конце концов, был нищим и Пьеро,
и вовсе не умел держать перо,
в пучине жизни точно щепка плавал,
вставал и в семь, и в шесть, и часто плакал.

1975

В доброжелательстве своем
не надо звать меня к обеду
от литургической беседы —
все, чем богат пустынный дом,
способствовало приобщенью
минуте высшего служенья —
и благодать почиет в нем.

Скорей средь мокрых площадей
снее преbывать в опале,
влача на мантии своей
седые дождевые капли, —
но только здесь, и только так,
отшучиваясь от прохожих,
чтоб не задеть цепей и ложек,
не оскорбить сей кавардак
утрат ценой приобретений,
сюда вторгая с ядом бредней
свой неустроенный чердак.

И одиночества дары —
оторванную от муры
свою задумчивую правду,
что горяча и чуть прохладна,
нага, как звездные миры,
плюс с неба дождевую каплю —
я не сложу у ваших ног,
затем что вы совсем как тыщи:
на миг пробили потолок,
но из буфетной чуть звонок,
и вы, расправив плечи, нищи.

янв. 76

Когда лежишь один во всей вселенной,
и до больницы не хватает сил дойти, —
душа хромает, хоть была нетленной,
и хочется огромной широты,
куда бы выпустить на волю быстрой чайкой
остаток мыслей, веры и любви,
чтоб не захлопнуть их в себе случайно
и в тонущем челне не загубить.

Я полюбила небольшие города,
по площадям стеканье мартовского льда,
закрытых магазинов тусклый свет,
троллейбуса шуршащий мокрый след,
а посреди пустынной мостовой
пяток произрастающих гурьбой
парней, не торопящихся домой.
Мне нравится центральный гастроном,
в котором кофе не разыщешь днем с огнем,
мне нравятся скамейки на виду
у улочек, которые ведут
меня опять нехоженной тропой
искать приметы данности простой:
планеты обитаемой, жилой.
И вечером я, так же, как и все,
слоняюсь по широкой полосе
асфальтом крытой суши обжитой,
вникая в пенье лиц перед собой.
А кто на выпуклом экране говорит,
кто в парике, в камзоле и завит,
кто там танцует, крупным планом снят, —
не ведаю. Здесь ночь уже. Здесь спят.

1976 Брянск

Марке писал дождливым днем,
потом впускал немного солнца —
и получалась жизнь вдвоем,
без лишнего — легко и просто;
легко, сурово и светло —
так день устроен, так устроен
весь мир небесный и земной,
без лишнего, беспрекословен,
расцвечен скромно, тихо сед
и ограничен лабиринтом
красивых параллельных линий;
благословен вчерашний след,
хоть пасмурно, а все — не ливень.

апр.76

Через час я уеду из этого города,
и возвращусь ли когда-нибудь — ведает Бог.
(Конечно же, не возвращусь, даже если приеду).
И где теперь жить? — Привыкать
к новым улицам, новым лицам? —
интересная жизнь! —
к чужим магазинам, не зная,
где чего не найти.
Неизбывна память о встречах, разлук не бывает.
Я только в разлуке со всеми, с кем вместе на свете жи-
ву.
Сейчас я уеду, и ведает Бог... Я привыкла
пересекать эту площадь, смотреть на табло показаний
о времени и температуре. Привыкла вживаться в трол-
лейбус
и собирать медяки. Привыкла подсчитывать время
от этих ступенек — до т е х...

март 76 Брянск

Я прошу от тебя защиты
у высоких нагих полей,
у молчащих сырых камней,
у зеленой земной элиты,
проникающей лаской плиты, —
у травы, у лучей на ней.

Я прошу от тебя заслона
у серьезно-скорбного слова,
прозвучавшего здесь не однажды
в литургии духовной жажды.

Я прошу от тебя отврата,
своего монастырского брата
я на помощь зову и кличу,
окрестил чтоб твое обличье.

Я прошу от тебя забрала,
чтоб рыданий моих не слыхала
окружающая среда
по поломке дверного льда.

Я прошу о тебе у речки,
у ее молчаливой речи,
чтоб могла помешать нашей встрече,
протянув ко мне свое дно,
чтобы стала я с ним одно.

Я прошу от тебя защиты

у веселых первых стеблей,
у весенней земли моей,
у знакомой одной ракиты,
у тропинки — не у людей!

апр. 76

В саду обширном грудки снега
белеют ровными рядами,
грачи молчат над деревьями,
и отражаются стволы
в обширной деревенской луже,
и, что всего, конечно, хуже, —
что выбраться нельзя, но надо,
хоть нету никуда пути,
а если прямо — так наряда
уж ни за что не сохранить.
Но пусть меня повесят, если
я появлюсь в сенат небесный
заляпан с головы до ног,
зажав в зубах гуся кусок;
с трудом улавливаю нить:
в саду обширном грудки снега,
мелькают детские телеги,
в опрятности белеют мысли,
и с узелком на коромысле
так трудно по земле брести,
так молча тянутся кресты,
и отражаются, пестры,
в обширной деревенской луже...

апр. 76

Слезами воздух напоен
и этой моцартовской негой, —
сухой асфальт и мокрых крон
слияние с сияньем неба.
Сухой асфальт и мокрых крон
объяты на виду прохожих,
и ожил сад, и замок ожил,
и влажной дальности предел
наполнен бликами похожих
весенне-обнаженных тел,
и мой хранитель белокожий
ликуя, надо мной взлетел,
и с век моих, неосторожный,
свою пленительную тень
нечайно сдернул в этот день.
А воздух напоен изменой
и этой моцартовской негой,
слезами, хлебом и тоской,
но мой слепой телохранитель,
крылатый, легкий небожитель
черезвычайно высоко,
чтобы меня он мог утешить
и защитить от грешных здешних.

На берегу зеленого пруда
прошло мое сиреневое детство,
теперь брожу по берегам одна,
и, собственно, лишь в том моя вина,
что шелковистая зеленая вода
одна способна выдержать соседство
сиреневатых взглядов, жестов, слов,
и легкий взмах судьбы уже готов
преподнести единственное средство,
решающее этот тяжкий суд
над провинившейся, чуть накреня сосуд
в одну из двух исходных ипостасей,
вернув зеленые и голубые части
туда, откуда души цвет берут.

памяти Терентия Гранели

Я поняла тебя, богатый город
с холодным светом матовых рожков,
с добром твоих застольных разговоров,
с слепящим зрением твоих прожекторов —
не светочей.

Ночной светляк томится
на набережной в метре от руки,
и тень Гранели озаряет лица,
как купол с отблесками мировой пурги.
Метет, метет, не утихает ветер;
нет больше Бога, но ничто не решено.
Да, Бога нет, но есть Его Терентий
среди асфальта. И по-прежнему грешно
то, что грешно. Что ранит. Что тиранит.
Что умаляет цену наших дней.
И постепенно жизнь уничтожает
внутри оправы с обликом людей
богатый город, где поэты погибают
на плитах безучастных площадей.

38-Я СИМФОНИЯ (МОЦАРТ)

Смеркалось. Прага. Нет, не помню
не виденного никогда.
И, кроме сумерек огромных,
все испарилось без следа:
и скрип заржавленной кареты,
и шаг глухого старика
по пыльной жалобной дороге,
и вдалеке худые дроги,
спина худого армяка
незнатного происхожденья,
и продувные похождения
высокородного щенка.
Кем мы себя вообразили?
В начале жизни бедно жили
и пили залпом положенья
из знатного происхожденья
каникулами напролет.
В середине марта грохнул лед.
Жизнь, как река, зашевелилась,
из комнат изгнан звездный клирос,
и не осталось ни следа
от вычитанного вреда,
а вымечтанному — нет места:
в пекарне не хватает теста,
Синод изыскивает средства
поднять в ближайшие года
производительность труда.

июнь 76

ТОНАЛЬНОСТЬ РЕ-МИНОР

Иосифу Бродскому

В оторванности от столиц,
в стенах холодных без камина
минует жизни половина,
шнурком цепляясь за карниз.
Растворы движущейся шторы
дождь застигает проливной,
и сквозь прозрачные потоки
плывут барочной чередой,
плывут и проплывают мимо
нагие зданья без камина,
незащищенная стена,
лепного ангела ступня,
трава, растущая сквозь плиты,
ползущая по ним улитка,
и слева, не касаясь уст,
благоухает взору куст
дождем омытого жасмина,
минуя жизни середину.

Этот голос чужой говорит здесь со мной каждый вечер
Проливная река у плотины накопленной речи
И смиренный покой обнимает скорбные плечи
Я и раньше была я и раньше жила но наверно предте-
чей
Этой грустной реки этой плавной тоски этой сумрачной
встречи.

Голос дальний глухой не бывавший на первом прича-
стии
Не выдавший покоя не знавший смиренья и счастья
Голос дикой воды голос жаркой пурги этот голос без
веса
Голос листьев и леса молитва любовная месса.

Это так по судьбе никогда не видать ни единого взгляда
Ни шагов ни руки ни ресниц даже тени не надо
Все уходит в песок на закате Восток торжество листопа-
да
Не заслуженная не дарованная награда.

Край зари серебрист вечер длительно мглист когда
осень
Овевает холмы вызвончает кусты но душа все выносит
Даже если и ты со своей высоты ей роняешь колосья
Ничего нет страшней в этом мире вещей моего двухго-
лосья.

Никогда не видать никогда не узнать ни единого взгля-
да
Ни шагов ни руки ни ресниц даже тени не надо
Все уходит в песок голоса раствора в тягеньи распада
В темноте в наготе в одинокой тщете одичалого сада.

Этот голос чужой раздаётся порой мне навстречу
Когда слезы мои встретят взоры Луны в созерцании
млечном
Все уходит в песок на закате Восток в доброте беско-
нечной

В безграничной любви в бесконечной крови и в тоске
безупречной.

Это голос любви одинокой тоски угасающей речи
Только плакать и петь если только уметь если рваться
навстречу
Ничего не узнав ничего не поняв не восстав над домами
Только голос любить бесконечную нить между нами.

Любить того, с кем не была знакома, —
вот так стремиться снова в этот город,
с младенчества возлюбленный душой
с какою-то отчаянной тоской,
и в сотый раз квартал твой обходить,
плыть за тобой, куда нельзя доплыть,
и биться все о те же берега:
«фонарь, аптека» — и «грустят стога»;
от невозможности тебя понять сходить с ума,
и снова без тебя ступать в туман.

Туман и неживые фонари,
а мне подай, кого благодарить,
но даль пуста и улица темна,
но в городе со мной знакома только мгла,
и где-то за углом блестит игла
Адмиралтейская, отсюда не видна.
Но не хочу благодарить Петра —
я не люблю сияний скипетра.

И все-таки я это говорю,
тем самым я навек благодарю

тот город, где ты бегал малышом
и впитывал очьми Фонтанный Дом.

А что б мы делали в Париже?
Мы б там, конечно, стали ближе:
привыкнуть трудно к новизне,
и Вы с утра звоните мне,
и пейзаж в оконной нише —
по-европейски сад подстрижен,
как в самом лучшем нашем сне, —
меня б устраивал вполне
как декорация... Но тише,
я слышать В а с хочу в Париже.
С утра в Венеции? — Все то же:
Вы ходите под аркой лоджий,
свой голос собственный лелея,
звучат шаги на галерее,
и я готова помнить свято
все очертанья лунных пятен
на Вашем драматичном лбу,
и ради этого солгу:
смогу стоять весь день уныло,
припав к оконному стеклу,
призвав таинственную силу,
б е з п р и з н а к о в душевной боли
служа в обетованной роли.

Но почему так музыка горька,
как яблоко в извивах червоточин?
Зачем же тень твоя, надменна и тиха,
запасть мне в сердце непременно хочет?

Оно — твой дом, здесь ты найдешь друзей,
перстами тронув изморозь дверей.
Ты — царь, переодевшийся царем,
лекарство, горькое в момент употребленья,
пожар без видов на спасенье,
на улицах опасно, здесь твой дом...
Поющей нежитью ты пребываешь в нем,
мой друг осиротелый, дальний!

(Какая ночь, какая кутерьма,
какой привычный склад сердечного обвала,
который ты, не встретив, потерял.
И без меня, по недоразумению,
что только не чудил, чего не вытворял —
ни своему духовному похмелью,
ни взлету своему не доверял.
Но если не тебе, тогда кому же
и для чего назначен был такой,
ни ангелу, ни воину не нужный
разлад того, что мы зовем душой?
Нет, нет, поверь — они предусмотрели,
какая будет жажда и нужда,
и положили в н у ж н ы х колыбелях
на сто частей поделенный каштан.
Конечно, были там и половинки,
но я совсем, ты знаешь, о другом.
Случится половинкам стать в обнимку —
и целое сидит в доме своем.)
Вот и свершилось — ты со мной рассажен...
И что еще? Скорлупки шелестят
на северном ветру, на дне земельных скважин

огрызки ядрышек, рассеяны, молчат...

А Свифт все ждет, когда от «Гулливера»
удачное потомство подрастет!
На северном ветру шуршат скорлупки веры,
а Свифт все ждет.¹

1974-1976

¹ Свифт ожидал, что после выхода в свет его «Гулливера» ровно через семь лет мир исправится.

НОЧЬ С ДЖЭРЕДОМ АНГИРОЙ

Я покажу любовь тебе Я femi-aura
когда отправился спать рассвет
когда напрягся изнуренный воздух
часы застыли ветер улетел
и в неумолчном «род-Э-рот» лягушек
звучит накал изнеможенья
с отчаяньем с тревогой бытия
я вся твоя... Как нравится тебе моя любовь?
кругом ни зги ночь выбила окно
ночная лампа полыхает криком
под мутной красно-шерстяной накидкой
вокруг они все — тени на стене.
Вот этот был — и я его любила —
совсем мальчишка плющ баскетболист
Он мнил что он Тристан Ромео Ленский
и с помутненным от любви рассудком
чем больше плакал тем сильнее впивался
зубами влажными от слез в ладонь любви
Он не в любви нашел изнеможенье
(быть может я была тому виной)
и неумолчный «род-Э-рот» лягушек о нем рыдает.
Второй... стоит насмешливо-ущербен
все мне твердит он — есть или не есть?
Он был умен и я его любила хоть пленный ум
не лучший из умов. Его постигла легкая кончина
и тень легка и пауза в саду...
А этот, этот...
О проклятье небу которое придумывает розги
из белокурого клочка волос

из мрачного бестрепетного взгляда
из уст молчащих словно обещаешь
как будто может умолчать
любовь. И в неумолчном «Род-Э-рот» лягушек
я слышу кто молчит любить не может а тот кто любит
тот не умолчит Молчанье пустота молчанье вечность
молчанье хор остывших белых звезд
молчанье нам останется молчанье когда рассвет
погасит темноту и неумолчный «Род-Э-рот» лягушек
на атомной подлодке подорвется или замерзнет в ве-
ковечном льду
Как коротка элегия планеты
меж нами мир но это пустяки
я вся твоя... Как нравится тебе любовь такая?
Я вся твоя не лучшая из женщин
давай построим лучший из миров
ах коротка элегия планеты
под неумолчный «Род-Эрот» лягушек!

авг. 77

ПРОЩАЛЬНАЯ ОДА

стихотворение для Дали

Не прощаюсь с тобой: не пригубила встречи,
Лишь любовный напиток уста изнурительно жжет.
Не прощаюсь! — не мною очерчен
Стрелок пустой оборот.

Не прощаюсь с тобой, потому что разлук не бывает,
Потому что листву моих слов
на подошвах своих ты несешь;
Не прощаюсь с тобой, потому что весна убивает,
Если ты меня снова по имени не позовешь.

Все что надо отдать из того, что мне здесь оставалось,
Я слагаю шутя у порога объятий твоих...
Не прощаюсь с тобой, потому что и самая малость
Неизбывна во мне при пожарах и бедах лихих.

Я с тобой пропою еще столько безудержных строчек,
Что никто не посмеет по ним до конца разгадать —
Как сумела я, вместо того, чтобы выплакать очи,
Не прощаться с тобой и тебя никуда не пускать.

Не прощаюсь с тобой, потому что земля еще дышит,
Потому что к другой еще кто-то другой подойдет,
И промолвит то слово, которого мне не услышать,
И придумает слово, из коего произрастет

«Не прощаюсь с тобой»... Только не было встречи,
И не это совсем назначалось холодной судьбой:
Не прощаюсь с тобой, ибо мне предоставлена вечность
Не прощаться с тобой.

1977

ДАЛИ ЦААВА

Как оказалось, был листопад,
как оказалось, был ветер;
как оказалось, следы
кто-то, как клад, перепрятал;
а у тебя занесло
дверцу, ведущую кверху;
иконостас без икон,
ограблен Дворцовый Сад.
Как оказалось, был листопад,
Как оказалось, был ветер.

В городе, усыпанном мёртвыми листьями,
нашестряслось грехопадение;
ты стал покорнее, чем вчера —
искал спасенья.

В городе, усыпанном мёртвыми листьями,
был траур,
и за сырыми стенами города
плакали дети
о неожиданной смерти
рыжего клоуна.

В городе, усыпанном мёртвыми листьями,
был праздник:
я наряжалась, готовясь к крещенью.

В городе, усыпанном мёртвыми листьями,
Бога отринув,
усталая от бестелесности,
произношу твоё имя —
Иосиф.

Вертится, вертится, вертится
огромный сад расставаний,
а у меня подол
полон засохших цветов.

Хожу, молчаливый гость
этих земных расстояний,
нащупываю порог
в пространство других садов.

Я умирающего не спрошу – куда? –
ответ у всех один, его я знаю.
Лежу, усталая от созерцанья дна
Спокойствия, и по волне пускаюсь.

Блуждающая по небу луна,
влекущая людей с небесной силой,
ведь и она не вечность, и она...
И моё имя порастёт могилой.

Но в хижине сегодня у меня
поленья гомонят и полыхают,
и Божий ветер колыбель качает
твою, Гурам.

ТЕРЕНТИЙ ГРАНЕЛИ(1898-1934)

Я И ГАЛАКТИОН

Я вчера был смертельно болен —
Верно, Зозия² вспоминает!
Демон движет Галактионом,
А во мне больше ангел тает.

В сад схожу этим днем холодным.
Каждый день дорогие вести.
Зрелость зерен в Галактионе,
А во мне — больше луч небесный.

Близок враг — плачет ветер дольний.
Вечереет к семи часам.
Голубое — в Галактионе,
Пропасть ближе моим стихам.

Я вчера был смертельно болен —
Верно, Зозия вспоминает!
Демон движет Галактионом,
А во мне больше ангел тает.

² Зозия — сестра поэта, на попечении которой он практически был всю жизнь.

БЛАГОУХАНЬЕ ОСЕНИ НАСТАЛО

Благоуханье осени настало,
Воспоминание сияет вдалеке;
Я так тихо прошел по саду,
Я так тихо отстал от всех.

Рояля звуки где-то зазвучали,
Неделя отлетела налегке.
Я так тихо прошел по саду,
Я так тихо отстал от всех.

Жизнь не стоит гроша, замечаю;
Но и смерть не приносит утех.
Я так тихо прошел по саду,
Я так тихо отстал от всех.

Я хочу бороться с ветрами,
Кто-то спит беззаботным сном.
Пусть мне, брошенному меж камнями,
Будет улица вечный дом.

Где-то, слышится, рукоплещут.
Утром, видно, сгустится туман.
На мне маска ангела блещет,
Кто-то так же от грусти пьян.

Все меня провожают взглядом:
На лице, как на куполе, свет.
Я так тихо прошел по саду,
Я так тихо отстал от всех.

Я жажду питаю к небу,
Я голод питаю к земле,
А думаю все о том же:
О лопнувшей струне.

Как подозрительно смотрят:
К таким не привыкли здесь.
Я думаю вечно о смысле
И в небо хочу взлететь.

Другой так как я не ходит.
О дальней грущу сестре.
Могу лежать как покойник
Где-нибудь на стерне.

Я жажду питаю к небу,
Я голод питаю к земле,
А думаю все о том же:
О лопнувшей струне.

Какое это медленное чувство —
Сердце к небу голуби несут.
Здесь темно, и никто не смотрит
В эту сторону, где я стою.

Для меня поэзия — сердце;
Тянет ветром — и тотчас рассвет.
Я стою здесь, с пропастью рядом,
И не смотрит никто на меня.

Для меня жизнь — такая тяжесть,
Поглощающий пламень чувств.
Здесь темно, и никто не знает
Места этого, где я стою.

КАПЛИ КРОВИ И СЕРДЦЕ

Я пишу эти строчки ветреной ночью,
когда капли дождя ударяют о стекла
и о дальности плачет рояль.
Вспоминаются ураганные дни моей жизни,
сожаления сотрясают меня.
Но и радуюсь, что я — Терентий Гранели.
Передо мною — пропасть, и черное облако меня одело.
Я с сотворения времен шел медленно к свету,
чтобы увидеть солнце,
будто кто-то невидимый и далекий притягивает меня.
Я пришел слишком рано и вот
снова втягиваюсь в темноту, будто в море,
что топит меня.
Каждая ночь приносит думы о смерти и дальности:
придет миг, и меня не будет среди живых.
Тем не менее верю в бессмертие:
поэзия даёт ощутить, что где-то
голубой существует простор, где вечно парит
скорбящая моя душа.
Ураганная ночь, и хочу
быть где-то не здесь.
Радость, которую приносит поэзия, равна полету.
Я не хотел жизни.
Но и смерти я не желал.
Я желал чего-то другого.
Сейчас думаю и верю в тайное третье.
Скорбным Серафимом у порога вечности
жду, когда тень Христа снизойдет и избавит.
Верю: жизнь не в теле.

Обращаюсь ко всей вселенной: хочу полета.
Я хочу быть везде, как Бог.
Я, потерявшийся, как ребенок, на грешной земле,
не знаю, как выбраться из этой хляби.
Не жизнь. Не смерть.
Что-то другое.
Говорю: нет слов для выражения чувств...
Ураган, капли дождя бьются о стекла
и о дальности плачет рояль.

СОДЕРЖАНИЕ

В окне отражается люстра;	2
Так. Перестали петь про свет луны,	3
Ах, я чувствую — я там пропаду,	4
СЛОВА И МУЗЫКА	5
Солдатики пластмассовыми стали	6
Вот принцип «белое на белом» —	7
Дождь в осенней столице. В тумане мосты.	9
Совка, двух яблок и клочка рябины	10
Этот город, в котором уже нет района,	11
Сиреневый зубчатый горизонт квартала	12
Когда же случилось,	13
Кукольно-просто и строго	14
Собака лает, ветер разносит	15
МОЕМУ ЧИТАТЕЛЮ	16
ТАЛЛИН	17
МЕРИКЕ	18
В доме	18
с семнадцатого века	18
ПАУЛЬ-ЭРИК РУММО	19
Свет в эркерном окне. На улице туман.	20
Серый плитняк, отороченный снегом.	21
УЛИЦА ТООМКООЛИ	22
МИМОЛЁТНОСТЬ	23
Завяли розы на окне.	25
Темная Темза и серая Сена,	26
Мы заперты, как в мышеловке,	27
Накормлен объедками я доотвала	28
На что воздействовать и что преобразить	29
Одуванчики во рву	31
Правда, а что же я видела,	33
Запах кислого теста, древесного дыма костра	34
Свист электрички и шум тополей	35
Как больно, как благостно видеть тебя,	36

ВЫШЕ СТРОПИЛА, ПЛОТНИКИ!	37
Про что еще поговорить?.....	39
Горячей гальки белые слова,	40
Нам самым заметным казалось в Рязани,	41
СОНАТА АРПЕДЖИОНЕ.....	43
Пространство заполнено птицами; птицами и облаками.	43
В морозильнях, родильнях, давяльнях.....	45
Какая нежность в сентябре.....	46
Искусство всегда отражает действительность	47
ДЖОРДАНО БРУНО	48
Мне снова расскажи про сад, в котором вырос,.....	49
И вот встает холодная луна	50
АНАКРЕОНТИЧЕСКИЙ МОТИВ	51
Так восхищенный взгляд ребенка.....	52
Еще прошу у благостной недели	53
Еще один пропащий день угас;.....	54
В доброжелательстве своем	55
Когда лежишь один во всей вселенной,	57
Я полюбила небольшие города,	58
Марке писал дождливым днем,	59
Через час я уеду из этого города,.....	60
Я прошу от тебя защиты.....	61
В саду обширном грудки снега.....	63
Слезами воздух напоен	64
На берегу зеленого пруда	65
Я поняла тебя, богатый город	66
38-Я СИМФОНИЯ (МОЦАРТ).....	67
Смеркалось. Прага. Нет, не помню	67
ТОНАЛЬНОСТЬ РЕ-МИНОР	68
НОЧЬ С ДЖЭРЕДОМ АНГИРОЙ.....	74
ПРОЩАЛЬНАЯ ОДА	76
ДАЛИ ЦААВА.....	78
Как оказалось, был листопад,.....	78
Вертится, вертится, вертится	80
Я умирающего не спрошу – куда? –.....	81
ТЕРЕНТИЙ ГРАНЕЛИ(1898-1934).....	82
Я И ГАЛАКТИОН.....	82
БЛАГОУХАНЬЕ ОСЕНИ НАСТАЛО.....	83

Я жажду питаю к небу,	84
Какое это медленное чувство —	85
КАПЛИ КРОВИ И СЕРДЦЕ	86